



В Биробиджане

Путешествие в Амурзет

ДАВИД ХАИТ

Шоссе бежит по тайге вдоль амурского берега, у границы. Позади остался Биробиджан, столица Еврейской автономной области, созданной переселенцами в тайге. Веселый шум сменяется свистом пурги, желтая пыль — снегом. Город уходит за синие сопки.

Далеко лежит Амурзет, еврейский колхоз, первый в пустыне, где узкий фарватер реки разделяет два мира. Колхозники, выходцы из местечек, варывали тайгу, отвоевывая пахотную землю, строили мосты, жили в шалашах, скрываясь от зверя и мошкары, прокладывали дороги, водили тракторы и лошадей по косогорам, рубили лес, воздвигали дома.

Машина несется мимо сопки, мимо низких кустов. Испуганные гудком, улетають пестрые фазаны, убегают дикие козули, изюбры и кабаны.

В районном центре Блюхерово за сто двадцать километров видны на другом берегу очертания манчжурских деревень, дым над трубами, военные дороги. Широкий и пуст Амур.

В сумерки приезжает в погранотряд помполит. Он распахивает широкий тулуп, подбитый овчиной, весело потирает озябшие руки, бросается к телефону, разглядывает огромную, пересеченную красными жилками, карту Манчжурии. Помполит пятнадцать дней кружил по Амуру, вверх до Благовещенска, по следам шпиона. О шпионе было известно: перешел границу. Место перехода было указано неправильно, и помполит шел по ложному следу. Лошадь сбивалась с пути, слепил ветер. Уже когда помполит возвращался, он узнал: шпиона задержали амурзетские колхозники.

Переселенческие колхозы — Квашнино и Венцелево — созданы здесь недавно, меньше года. Люди живут в просторных избах, предоставленных казакми. Люди приехали сюда из далеких местечек бывшей «черты оседлости». Они впервые поселились «на земле».

Сельсовет наполняется людьми. Отрахивая снег, входят две подруги из одесского педтехникума, две еврейские учительницы: Рыклис и Гайсинская. В школе, после занятий, они устраивают читки и спектакли. Каждый вечер они приходят в сельсовет, на колхозные собрания. Яркое вспыхивает лампа-молния, железная печь накалена до красноты, плывет по комнате едкий дым самокруток, обволакивая окна, лица, плакаты, телефон на стене.

В сельсовете, за столом сидят казаки из колхоза «Заря», находящегося в Квашнине. Они делятся с переселенцами своим опытом земледельцев, а сами изучают еврейские буквы, письмена, начинающиеся справа налево, бухгалтер Шестаков пишет свою фамилию по-еврейски, председатель сельсовета подписывается на бланках уверенно: «форзецер дорфрат Полуротов».

Национальный язык, объявленный государственным, звучит вокруг по Уссурийской дороге, от Облучья до Хабаровска, от Биробиджана до Амурзета. Русские работники изучают «идиш», язык народа, бывшего раньше изгоем и нашедшего свою родину. В рыжем еврее, говорящем гулко, как в трубу, я узнаю человека, знакомого по детству. Колхозник этот выходит из угла на свет и, огромный, одетый в козий

полущубок, неловкий от движения, требует, кричит:

— Мы ехали увидеть хорошую жизнь! А я — камни вороचाю! Лес рублю! Что вы меня загнали, чорт знает куда!

Он отказался работать в колхозе. Его поставили у амбара сторожем. Он натягивал через голову полущубок и уходил спать, а утром, ленивый от сна, спрашивал у колхозников:

— Где же хорошая жизнь?

Старик Спектор, заменивший его, проходил с трещоткой по колхозу и ночью заваливался спать. Кузнец из местечка, старик бросил свое ремесло. На собрания он приходит раньше других, садится на пол, дымит самокруткой и, собирая вокруг себя молодых, рассказывает легенды о Гершке из Острополя, еврейском Тиль Уленшпигеле. Он читает наизусть изречения из талмуда и, сладостно прикрывая веки, рассказывает о знаменитых цадиках и мудрецах. Слезы дрожат на его ресницах, и седая борода трясется.

— Спектор! — кричат ему. — Почему ты не куешь лошадей?

Быстро поднимаясь с пола, старик оживленно спрашивает:

— Три рубля за подкову дадите?

За столом сидит уполномоченный по хлебозакупкам, присланный из Биробиджана. Он — маленький, круглый, с брюшком. Развалившись на стуле, он затыкает уши от шума. План по хлебозакупкам не выполнен, и уполномоченный, обводя собрание заплывшими глазами, укоризненно качает головой, трещит суставами пальцев и спрашивает вдруг отчаянно, с беспокойством:

— Еврей, что делать?

Он уходит домой, к казаку Якимову. Там дремлет тишина. Огонь в печи. Ветер в трубе.

— Куда вы меня загнали! — продолжает рыжий колхозник. — Где же хорошая жизнь?

К нему бежит Бася-Рива Смагаринская, приехавшая из местечка Прилуки, Полтавской губернии. Платок ее сползает на плечо, ситцевая юбка вздергивается на коленях, обнажая рыжие голенища, на тулупе расстегиваются пуговицы.

— Сейчас! — кричит Бася-Рива и кланяется сторожу в пояс. — Простите, хавер¹, — говорит она, — еще не готово блюдо...

— Какое блюдо?

— Сейчас! Минуточку подождите. Вам принесут золотое блюдо. Сейчас вам поднесут на золотом блюде хорошую жизнь!

— Бросьте ваши шутки, — упирается колхозник. Не делайте из меня чу-чел.

— Сейчас! — продолжает Бася-Рива, закусывая губы от гнева. — Сейчас вам поднесут хорошую жизнь, — и, повернувшись лицом к собранию, она вышаливает: — Лентяй! Бездельник! Менахем-Мендель!² Что он делал в Черкассах? Торговал рукавами от жилетки! Дырками от бублика! Единственно что: детей наплодил. Он приехал в Биробиджан и ждет, чтоб хорошая жизнь сама к нему в дом пришла... А я жду? А другие ждут? У этого бугая — крепкие ноги и здоровая пара рук. Так возьми этими руками за лошадь, за трактор, за топор! Руби лес, вози навоз, Менахем-Мендель несчастный!.. Вот и придет хорошая жизнь. Тебе дали землю, дом, корову, а ты ворует, боже мой, колхозные дрова... Извиняюсь, хавер, еще не готово блюдо...

После собрания Бася-Рива выходит из сельсовета и, нащупывая во мгле тропу к дому, долго еще разводит руками, забегает вперед, негодует. Ее слушают молчаливый муж Залман — колхозный конюх, зять Наум Катенберг, работающий на МТФ, дочь Хася, заведующая яслями, сын Шая, работающий в Биробиджане на лесопильной фабрике. На собрания Бася-Рива ходит со всей семьей. Она возвращается в свой дом, окруженный хлевом, коровником, курятником. Свиньи обступают ее, радостно мычат корова, бык Васька медленно поднимает голову, две собаки — Белка и Пупсик — броса-

¹ Товарищ.

² Менахем-Мендель — неудачник, «человек воздуха», герой одного из романов Шолом-Алейхема.



Переселенцы. Биробиджан

Фото С. Фридлянда

ются под ноги. В доме, за огромной печью шевелятся в тепле куры, гогочащие днем и ночью.

— Цыть! — кричит на них Бася-Рива и, сбрасывая платок, хватается кочергу, ухват, горшок, подбрасывает в печь дрова.

Дом наполняется шумным движением. В зеркалах, сверкающих на стенах, днем отражаются поле, тасжное небо, дорога. На развешанных по стенам фотографиях, в окаменевших позах, с напряженными лицами, каких не бывает в жизни, — бабушка, племянники, дедушка. В колхозный дом Баси-Ривы, вместе с зеркалами, привезенными с прилуцкой фабрики, перешел нелепый багаж прошлого: ханукальные свечи на комоде, пасхальные бокальчики, священная ветка, новогодняя открытка, поздравляющая по древнееврейски: «Лшоно-Тойво-Тыкосэйво». Она висит рядом с почетной грамотой ударника, полученной Залманом за образцовую конюшню. Брачный контракт «ксуб», выданный раввином, ви-

сит рядом с повесткой на районный слет.

— Я ухожу на ферму, — говорит Наум, беря фонарь. — Корова отелилась. Колхозный отел!

Молчаливый Залман, развешивая на печи онучи, медленно говорит:

— За коровой нужно ухаживать внимательно, как за лошадыю.

Шая начинает разговор о лесосплаве.

— Вы знаете что это такое? — спрашивает он. — Весной начнут сплавлять лес из тайги. Прямо к лесопильной фабрике. Там мы его порежем ленточной пилой. Загрузим город. В Биробиджане скоро вырастут новые дома!

— Да! — взмахивает рукой Бася-Рива и вынимает из горшка замерзший круг молока. — Да! — восклицает она и рубит на столе свинину, затвердевшую от мороза. — Мы приехали и работали. А теперь кругом вылупили на нас глаза: богачи! Пожалуйста. Мы — колхозные богачи. Никому не запре-



В г. Биробиджане —
столице Автономной
области

щается. Скажите это рыжему. Он ждет хорошую жизнь, как мы ждали Мессию. Скажите ему: эту жизнь берут за шиворот и втаскивают ее в дом!..

У Венцелевской заставы в колхозе «Сталинец» я увидел Соломона Рода, колхозного бригадира. Значок ударника сверкал на его тулупе.

Я узнал Соломона Рода.

Это был человек с моей улицы. Вот мы и встретились. Салгирная улица, упиравшаяся, как человеческая судьба, в вокзал и кладбище, была осью мира, границей, за которой начиналась большая и неизвестная жизнь. Ломовой извозчик Род приходил к моему отцу, портному и спрашивал:

— Что же дальше?

— Где дальше? — удивлялся отец и поднимал на извозчика измученные глаза. — Где именно дальше?

— За городом!

— Ну? — вздрагивал отец. — Опять начинается философия.

Это был неравный поединок. Отец, прикованный к мастерской, никогда не выходил за черту своей улицы. Мир извозчика был шире: он знал множество улиц, по которым возил тяжелые грузы от вокзала к табачным и консервным фабрикам. Ему было тесно. Он рвался за город, за пределы тяжелой цепи, называвшейся «чертой оседлости».

— Ломовик! — горько говорил он о

себе. — Вы слушаете меня, реб Мотель?

— Я вас слушаю! — отвечал отец.

— И значит, дети наши тоже будут извозчиками и портными? И никуда не уедут с этой улицы, единственной в жизни? Вы слушаете меня, реб Мотель?

— Я вас очень слушаю! — отвечал отец, втыкая иголку в палец и глядя на пиджак, прошитый белыми нитками, как на проклятие.

Я глядел на извозчика Рода. Он взмахивал рукой ожесточенно, точно держал кнут, и, казалось, был готов закричать сейчас, как кричал всегда своей лошади: «Но-о, корова!»

Он мечтал увидеть жизнь за пределами города и умер на Салгирной улице, у базара, в доме Мустафы.

Редкими стали мои встречи с сыном его Соломоном. Он не звал уже меня из окна, не вертел «дзигу», не купался в Салгире. Однажды я увидел его в грязном фартуке, всклокоченного, мокрого от пота. Руки его пахли шевровой кожей.

— Сапожник! — сказал он о себе. — А ты?

На этот вопрос я не мог ответить даже себе. Я заболел мучительной болезнью: мне казалось — город накрыт колпаком. В нем гложут шум, звуки, слова, застывшие на губах людей моей улицы. Я приходил на станцию провожать поезда, и, когда отходили они, обсыпанные искрами,

Так начинается жизнь
в тайге...



вспоминался отец, прикованный к мастерской, и ломовой извозчик Род, умерший на Салгирной, мечтатели и неудачники, стремившиеся выйти из круга.

Время разъединило нас до тридцать шестого года, когда мы встретились в еврейском колхозе, у границы страны. Прошедшие годы были значительными в жизни Соломона Рода, сына ломового извозчика: он дрался в еврейском отряде против петлюровцев, был на Перекопе, бежал из белого плена. Он не стал сапожником и занимался ломовым извозом до тридцать четвертого года, когда в город приехали люди из Биробиджана и рассказали о новой стране, где человек меняет жизнь.

Много дела у колхозного бригадира Соломона Рода. Рано утром он выходит из избы по свежему снегу и глядит по сторонам. Пред ним — Венцелево, колхоз «Сталинец», называвшийся раньше по-казачьи: Городьба. Снег скрипит под ногами. Зима! Но дни и сейчас напряженные: заготовка дров, засыпка семян, взрывы в тайге, триер... Надо правильно расставить силы, напомнить об обязанностях каждому, приехавшему издалека. Переселенцы, не зная земли, лошадей, трактора, приехали по озетовскому маршруту группами, в одиночку, эшелонами, в вагонах, разукрашенных кумачом: «Едем строить Биробиджан!» С переселенческого пун-

кта их привезли к границе, в новые колхозы, где ждали их казаки. Но как поднять эту землю, глубоко промерзающую зимой? Как рубить лес, которым в местечке занимались только дровосеки? Как ухаживать за коровой, знакомой в местечке только молочникам?

Евреи этого не знали. Старики в прошлом меняли профессии, но из нищеты не выходили как из собственной кожи. Недавние переселенцы преодолевают то, что в лишениях и трудностях давно прошли амурзетские колхозники, приехавшие в двадцать восьмом году, в первый год переселения в пустыню.

Соломон Род входит в дом Пейсаха Розенберга, бердичевского шойхета¹. От святости у шойхета осталась одна борода, закрученная на щеках пейсами. Он лежит в холодной избе, в вермолке и в рубищах, прикрывающих голое тело. Молитва дрожит на его губах.

— Хавер Розенберг! — окликает его бригадир. — За дровами! Раз, два — и готово.

— А валенки? — спрашивает Розенберг и указывает на свои ноги, укутанные в тряпки. — А тулуп? — спрашивает он и указывает на рубища. — Я голый и босой. Куда я выйду в такой мороз?

¹ Резник.

— Озет вам давно выдал! — восклицает бригадир. — Вы, извините, лентяй. Дрова в двух шагах, а вы замерзаете. Вы срываете колхозный план и лично ваш. Зачем вы сюда приехали?

— Как — зачем?.. — кричит Розенберг и вскакивает со скамьи. — Я был шойхетом, но евреи сделались безбожниками: сами начали резать кур! Я приехал в Биробиджан, но здесь евреи не только режут кур, но даже кушают свинью... Это — грех. Куда же мне деваться?

— Работать!

— На колхоз? — спрашивает Пейсах Розенберг, бердичевский шойхет.

Когда скрывается бригадир, Розенберг выходит во двор, укутанный в одеяло. Он выводит со двора трех огромных свиней и гонит их на продажу по Венцелевской дороге. Он бормочет:

— На колхоз? Держите карман пошире! Может быть, открыть вам и мой сундук! Там поместится весь озет.

Соломон Род входит в дом колхозницы Аграновской. Вчера она не вышла на вывозку навоза... Бригадир посылал за нею три раза, и каждый раз она отвечала: «Пусть сам придет».

— В чем дело, хаверт?¹ — спрашивает бригадир, входя в ее дом. — У вас праздник? Можно вас поздравить с пуримом²? Простите, пожалуйста: я забыл принести вам «шалах-мунес»³.

Но, взглянув на пол, бригадир догадывается... На полу лежит корова, почти недвижимая. Воздух вокруг нее спертый, тяжелый. Из полумрака выступает одинокий табурет, подчеркивающий пустоту избы. Колхозница сидит над коровой как над покойницей.

— Я не могу говорить! — кричит она, увидев бригадира. — У меня сердце разрывается, когда я вижу больную корову.

— Эту корову приятнее видеть, чем вас, — невозмутимо отвечает бригадир. — Смотрите, она завернула морду. Она не желает смотреть на такую замечатель-

ную хозяйку. Вы, конечно, опять перекормили ее и перепойили... Когда вы научитесь? — спрашивает бригадир и убегает за ветеринаром.

Тот является мгновенно, щупает коровий живот, вздувшийся как шар. Бригадир, перехватывая его взгляд, укоризненно качает головой в сторону колхозницы.

— Ува! — восклицает он. — Вы надули ее, как стратостат. Смотрите, она собирается улететь, — и суровей лицом, на котором вспыхивают круглые черные глаза, спрашивает вдруг: — Что вы делали в местечке?

— Поломойкой была.

— Вы никогда не видели корову?

— Я видела, но не имела. И я была спокойная. А когда колхоз дал мне корову, я стала беспокойная. Это же моя корова! Я от радости кормила ее много, но, оказывается, чересчур... Вы лечите корову, и я буду спокойная. Для этого стоит вывезти сто пудов навоза.

И, быстро завязывая платок, колхозница бежит в поле, веселеет, бормочет: «Я же надеюсь на ветеринара».

— Поцелуйтесь с шойхетом! — кричит ей вслед бригадир.

Теперь спешит он к триеру, к машине, на которой колхозники веют зерно. Триер поставили в избе, но парторг решившая занять избу под читальню, грозит выставить машину на двор. Как же люди будут работать на морозе?

Издали приближается телега. В ней сидит Оля Немец, дочь бердичевского портного, обучающегося на тракторных курсах МТС. Оля едет с заставы, розовая от мороза, покрикивая временами на лошадь. Отец Оли вчера вернулся из дежневской МТС. Он стоит у избы и вертит ручку огромного барабана триера. Золотая пыль летит в снег. Люди работают на морозе...

— Парторг! — гневается бригадир, подходя к триеру. — Она настояла на своем...

Он замечает фигуру Якова Немца. Почему Яков ушел из Дежнева?

— Я спрашиваю вас: почему вы ушли с тракторных курсов? У нас договор с

¹ Товарищ. Обращение в женском роде.

² Предпасхальный праздник.

³ Праздничные гостинцы.

Одно из многих преступлений против библейских законов. Свиноводческая ферма еврейского колхоза „Икор“



МТС. Вы нам стоите денег. Что вы здесь шатаетесь?

— А кто дрова даст моей семье?

— Колхоз.

— Не смешите меня, Род! — машет рукой Яков Немец, бердичевский портной. — Я оставил в семье одного работника: дочь. Она может согреть и накормить? Я сомневаюсь. Пока не будет обеспечена семья, я не буду трактористом. Это, кажется, ясно, Род.

— Но какой пример вы подаете другим?

— Наоборот: другие подали пример.

— Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать то, что я уже сказал: трактористы вернулись обратно.

— Собрание! — вскрикивает бригадир. — Я немедленно созываю собрание. Нам нужны свои трактористы. Смотрите, сколько кругом земли! Кто будет ее пахать? Нужны трактористы, а вы убежали с курсов... Вы не видите, что творится в тайге? Эта земля ждет рук.

Бригадир говорит так уверенно, что его понимает даже глухонемой Райзблат. Вертя барабан, глухонемой широко улыбается бригадиру, которого не слышит.

— Аба-ба!.. — мычит глухонемой и показывает рукой на восток, где в блеске солнца, за двести километров, лежит столица — Биробиджан.

Райзблата покинула жена. Он остался в колхозе с детьми, замечательный

работник: он умеет плотничать, столярничать, изобретать. У него много трудней, книжка ударника, здоровые руки. Он согревает руки дыханием, и тогда бригадир снова вспоминает парторга. Эта женщина, выбросив триер на двор, не пожалела даже глухонемого...

Парторга бригадир находит в избе Якова Немца. Она сидит у окна и шьет на швейной машине.

— Это замечательно! — врывается с криком бригадир. — Вы заставляете мерзнуть даже Райзблата. А сами спокойно шьете на машине. Интересно знать, что вы вышиваете?

— Я шью платье для девочки Райзблата, — отвечает парторг, — она осталась без матери.

— Но почему вы выбросили триер?

— Потому что сын Райзблата растет малограмотный. Надо открыть читальню для таких, как он.

Бригадир умолкает. Этот глухонемой не одинок. О семье его заботится колхоз. Так не было на Салгирной улице, где надежды умирали прежде, чем умирал человек.

Но некогда думать. Трактористы ушли из Дежнева... В школе, на краю дороги, бригадир созывает колхозное собрание. Школа перегорожена занавеской, за которой живут парторг и воспитательница Маня Корман, веселая девушка из Винницы. Когда в школу, на пути в амурзетские степи,

заезжают областные работники, Маня просит их записать что-нибудь в альбом «на память», радуется каждому слову, перелистывает альбом, в котором простые мысли переплетаются с местечковой пошлостью. Вечером она уходит в Венцелево слушать патефон. Звенит ее смех, пылают щеки. Комсомолец Гонтмахер, потерявший комсомольский билет, поэт и счетовод, клянется ей найти утерянный билет.

Школа наполняется людьми. Кто-то сообщает последнюю новость: шойхета видели в Сталинфельде. Свиньи его сорвались с привязи, и он бежал за ними по совхозу с неистовым криком: «Евреи, помогите!» Он был в одеяле.

— Тип!.. — говорят о нем. — Интересно открыть его сундук. Что вы думаете? Поживет в колхозе — будет человеком. Видали мы, как переделывает Биробиджан.

Семья Горфинкелей приходит на собрание торжественная, праздничная. Гордость сверкает на лицах. Что случилось? Приближается праздник «хануки», который радостно встречался в местечке? Нет, у Горфинкелей опросилась свинья. Семейному событию радуются все колхозники. Горфинкелей обступают, хватают за руки, спрашивают:

— Какой приплод?

— Корм?

— Здоровье?

— Это та-акие поросята! — восклицает сквозь шум глава семьи, но его перебивают, просят показать опорос, все девять штук. — Это та-акие поросята! — кричит Горфинкель. — Такие! Вырастут — ско-олько сала! Мяса! Каждый может, каждый. Эти трэфные свиньи очень вкусные. Мы боялись близко подойти к ним, теперь они сами лезут в рот.

Разговоры разгораются. Колхозники вспоминают: в Амуре много рыбы, в тайге растут ягоды, в земле лежат металлы. Ах, амурская рыба! Сладкая, крупная и жирная, она стоит в реке в «очереди», ожидая рыболовов. Таежная земля, которая после Украины кажется самой холодной в мире, может зацвести садами. В колхозе Валд-

гейм живет Лейви Резник, веселый мичуринец. Он разбил в колхозе сад в пять гектаров, выращивает в оранжерее гигантские овощи, разводит лимонник из веточки, найденной им в тайге, — веточки, похожей на священную, которой благословляли его в детстве. Лейви Резник гонит малиновый сок, пробует вино из сливы и пьет чай с китайской вишней. Сады зацветут в амурских степях, на границе, за которой в солнечный день виден японский часовой с винтовкой. Здесь можно жить и расти здоровыми людьми.

К западу, за Бироканом — курорт Кульдур для сердечников, в Венцелеве забил целебный источник, излечивший ревматиков. Мельник Лесков, ревматик, однажды опустил ноги в горячую воду. Он налил воду в бочку из скважины, откуда подается вода в мельничный паровой котел и нагрел воду до пятидесяти градусов. Он уснул над бочкой, а когда его разбудили, он поднялся здоровый. Ужасная боль, сводившая ноги судорогой, исчезла навсегда. Так рядом возник целебный источник, излечивший колхозников, страдавших ревматизмом и экземой. Источник превращается в курорт.

— Здесь будет жизнь! — кричит сквозь шум колхозный бригадир. — Что вы будете иметь? Оцените картину. Так почему же вы такие ленивые? Новость: трактористы разбегались...

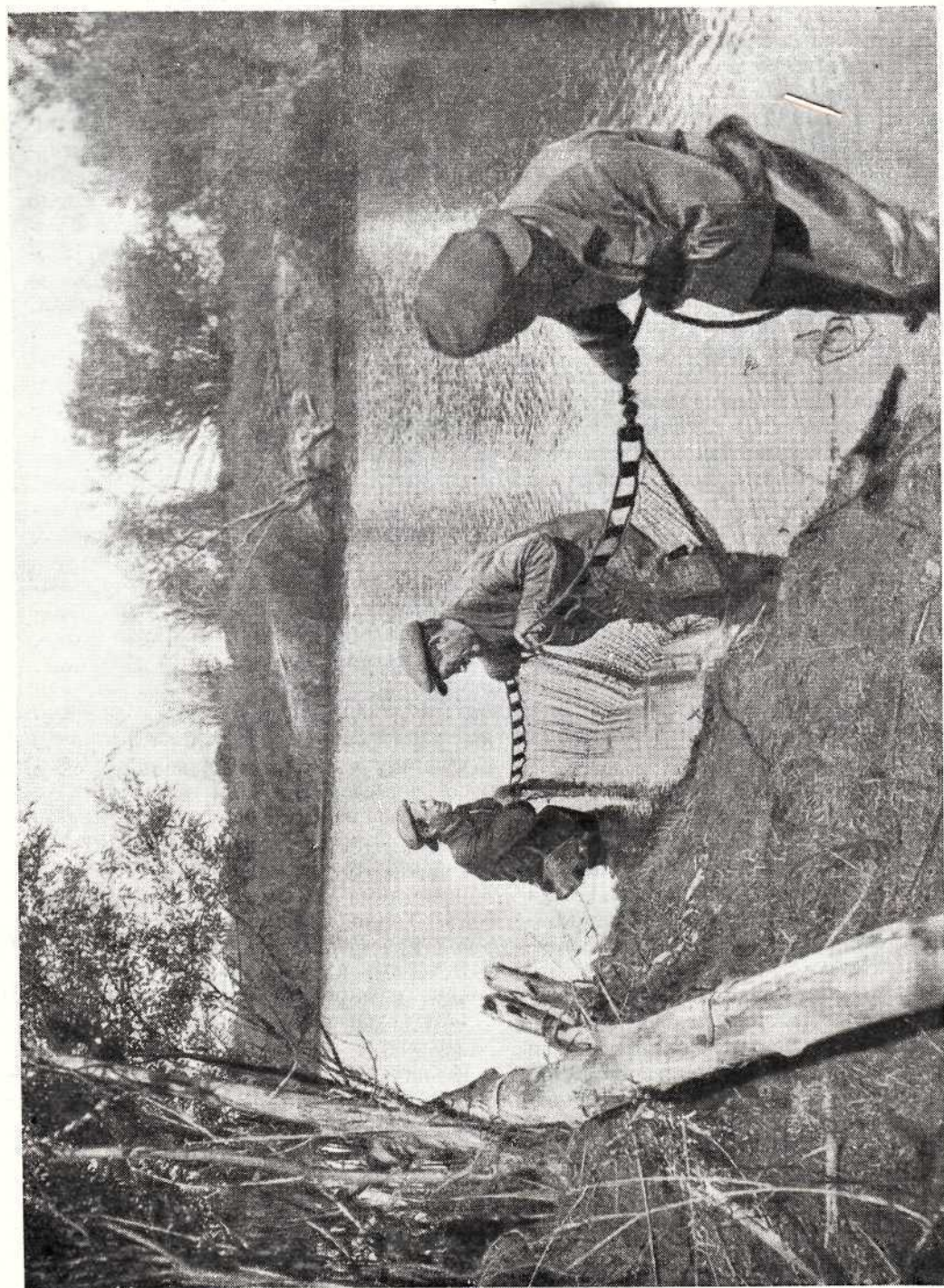
На колхозное собрание приходит начальник погранзаставы Курбатов. Бригадир жалуется и ему:

— Трактористы!..

Курбатов, улыбаясь из-под круглой кубанской шапки, надвинутой на лоб, достает папиросу, платок, блокнот из кожаной сумки, висящей на ремне. Говорит он тихо, с улыбкой, сощуривая от дыма молодое бритое лицо.

— Что у вас? — спрашивает он. — Как — трактористы?

Но тут неожиданно возникают мелочи: три колхозника, среди которых был и Зелик Горфинкель, присвоили тулупы, сапоги и валенки, выданные им в биробиджанском Озете для колхоза. Когда вызывают их на собрание, они оправдываются с возмущением:



Родину и труд обрели евреи. Биробиджан, еврейский колхоз „Икор“

— Нам выдали в личное пользование!

Это опровергается документами.

— Верните! — мягко советует Курбатов.

Зелик Горфинкель, поднимаясь над партией, взволнованно говорит ему:

— Вы спрашиваете у нас по административной линии или по гражданской?

— А что?

— Если по гражданской, я не верну, если по административной — верну.

— В таком случае, я спрашиваю по гражданской, — отвечает Курбатов.

И от неожиданного ответа прахом рассеивается юриспруденция Зелика. Он приносит тулуп, валенки, сапоги и, обходя юридические тонкости, говорит, оглядывая небольшую плотную фигуру Курбатова:

— Я — гражданин!

Трактористы шумно шевелятся у стены.

— Дрова! — загибая пальцы на ладони, считает Яков немец. — Хлеб! Где взять? Ведь я же ученик. Я был портной, а теперь буду трактористом.

— Это плохо? — спрашивает Курбатов.

— Это хорошо.

— Почему же вы ушли из МТС?

— Семья! — пожимает плечами Яков немец.

— Да я ж им говорю! — широко разводит руками Соломон Род. — Да они ж не слушают. Что, у нас нет колхозного фонда? Им мало... Они призывали мечтать и не иметь.

Вечером трактористы с собрания возвращаются в Дежнево, в МТС. Звонкие шаги пропадают за дорогой, и лишь одна большая тень долго движется по снегу: бригадир Соломон Род обходит с фонарем колхоз.

— Морока с ними! — говорит он. — Даже мой мальчик Додя зарабатывает трудодни. Он помогает на триере и едет на лошади, как джигит. Я в его годы получал от хозяина одни оплеухи. Он будет человеком, мой Додя. Здесь будет бога-тая жизнь! — И, повернувшись, бригадир говорит неожиданно: — Хоть бы одним глазом увидеть нашу

улицу. Увидеть и — забыть. Отца моего с той улицы вынесли на кладбище. А я уехал сюда и нашел свою жизнь. Здесь все мое. Мое поле! Лес! Тайга!

Машина приближается к Сталину-фельду. Я вспоминаю Лафера, тракторного механика. Встретились мы в Биробиджане в жестокую стужу. Тепло ушло из комнат, вода замерзала в колодцах, город, мохнатый от инея, дрожал в синем дыму печей. Лафер, не покидавший совхоза три года, приехал, когда замерз Амур. Он приехал поглядеться с земляками из Литвы. Они прибыли навсегда, с чемоданами, одетые по-заграничному: женщины — в синих пальто, с муфтами, в беретах, в резиновых сапогах с замками-молниями, мужчины — в бриджах и крагах. Это — все, что осталось у них от литовской цивилизации. Переехав границу, они оставили за собою старый мир с безработицей, обысками, арестами, тяжелым моральным гнетом. В Биробиджане они поселились в новом доме, у железнодорожной линии, на улице, начавшей строиться с их приездом. Они пошли работать в чулочные и трикотажные мастерские, на швейную фабрику, в кузницу с громким названием: «Колесо революции». Они вживались в советскую жизнь, новую для них в каждой мелочи. Но эти морозы! Но эти дома! Построенные наспех, неутепленные дома трещали, как старая мебель. Тепло уходило из окна. Изморозь проступала на стенах.

Вечером, когда литовцы грелись у печки, в комнату вбежал Лафер.

— Где здесь земляки? — выкрикнул он.

И начались слезы, объятья, смех. Литовское наречие зазвучало звонко, как ручей.

— Привет! — кричали Лаферу земляки. — От матери твоей, которая рвется в Биробиджан. От братьев твоих из тюрьмы. От товарищей из Литвы.

Лафер взглянул на платки, укутанные плечи женщин, на поднятые воротнички пиджаков и весело вскрикнул:

— Маскарад!.. Бросьте кутаться. Это еще не мороз. А сорок градусов вы не

видали? А в шалашах вы не жили? Я приехал, когда ничего не было. Степь. А вы? На все готовое. Идемте в исполком, на стахановский вечер.

Спектакль! В городе — огни!

Он не узнал Биробиджана. Пустыри превратились в улицы, землянки — в дома, на сопке вырос поселок. Улицы, опутанные столбами и проволокой, разбросались во все стороны.

— Здесь же ничего не было! — весело говорил он землякам. — Что же будет еще через три года? Интересно подумать. Вы представляете себе, в каких домах будете жить? А знаете, во что превратилась степь? — И, повернувшись в мою сторону, сказал на певучем наречии: — Вы человек, жадный до нашей жизни. Будете в Сталинфельде — найдите меня. Мой адрес: Лафер, механик.

...Машина бежит по льду. Узкое синее небо пропадает вблизи. Рыжая трава возникает полосами на снегу. Эта дальняя дорога пустеет летом, когда разливается Амур. Переселенцы едут пароходом до Хабаровска, оттуда поворачивают к Биробиджану, назад к западу. Летом вылезают из сопок старики-бакалники, оставшиеся на Амуре после царской ссылки. Уголовники в прошлом, они полюбили одиночество и уходят от человека.

Степь вдали, вырываясь из сопок, светится стеклами, яркой окраской крыш. Совхоз. Техникум, клуб, больница, школа, столовая, маханческие мастерские, где за широкими дверями вспыхивает электросварка.

Лафер бежит по совхозу. Он торопится к почте, где остановилась машина: кто приехал? Лицо его расплывается в улыбке, и теперь видно, что у него очень большой рот. Я ему кричу.

— Привет от земляков! Они поручили мне узнать: есть ли письма от матери? От товарищей? От братьев из тюрьмы?

Он радостно пожимает руки и вглядывается в спутников. — А еще кто придет? — спрашивает он.

За нами едет еврейская капелла. Ее собрал в Ленинграде на заводах композитор Мильнер, остающийся жить в

Биробиджане. Девушки из капеллы, мчатся в автобусе. В клубе будет концерт!

— Пусть споют они про Сталинфельд! восклицает Лафер. — Про меня, литовского солдата, про мой дом в степи...

Дом его, узкий и длинный, как все совхозные дома, стоит на дороге, на пересечении ветров. В комнатах его еще живет Литва: сладкий мир с семейными альбомами, посудой с чужими монограммами, открытками с голубями и сердцами, пронзенными стрелой. Дочка Мюда, названная так при октябринах в совхозном клубе, выпарывает голубым глаза. Она бьет посуду, рвет альбомы. На фотографии Лафер — литовский солдат, в рваной гимнастерке с погонами, измученное лицо его нахмурено, губы сомкнуты. Из альбома падают литовские письма, проштемпелованные тюремной цензурой, письма от родственников со всего мира: из Палестины, где на сельтерском заводе работает дедушка, из Аргентины, Польши, Америки, Германии. Евреи бродят по миру изгоями, мечтая, как мечтали их предки, выйти из фараонского плена. На востоке сияет их страна, с городами, колхозами, совхозами.

— Биробиджан! — звучит в письмах и приветах.

Но закрыты заставы. Литовцы, приезжая интуристами, остаются. Ждут большого эшелона из Польши. Остальные иностранцы приехали давно. Они оставили братьев и матерей и теперь просят озем, область, край: «Переселите родных!»

В далекой тайге растет еврейское социалистическое государство, единственное на земле. В мире вокруг него кипит борьба. Спionисты зовут в Палестину, где арабы, измученные безземельем, восстают на пришельцев, единокровных по племени.

Когда слушаешь Лафера, когда смотришь в глаза его, потеплевшие после Литвы, гордость его становится понятной. В совхозной степи он нашел свою родину. Украинские и белорусские переселенцы давно дышат советским воздухом, им неведомо волнение, ощущение



— Были погромы, была „черта оседлости“, было „правожительство“..

мое людьми, переступающими через границу в новый мир.

— Она этого не узнает, — говорит Лафер о своей дочери, продолжающей уничтожать семейные реликвии. Она советская гражданка!

И он глядит на жену, подающую в литовских тарелках котлеты из совхозной свинины. На косматой серебристой скатерти, с бахромой и кистями, появляются амурская рыба, огурцы со своего огорода, печенье из сталинфельдской муки.

У окна сидит переселенец из Палестины. Он приехал давно, в совхозе сделался лучшим шофером-ударником, но когда он говорит, его не понимают. Он переходит с арабского на древне-еврейский, но и этот библейский язык непонятен. На нем разговаривают только в Палестине, и шофер сидит среди друзей, как глухонемой.

— Я понимаю его, когда он заводит машину, — говорит Лафер, — он заводит ее по-советски.

В совхозе зажигаются огни. Вечер опускается над степью. Пахнет гарью, ветром, бензином. Стучат моторы. Шипят по снегу шины. Из мастерской летят искры. Зарево медленно садится на манчжурском берегу. Издали приближается гудок: приехала капелла. Автобус останавливается у совхозной конторы.

— Капелла!.. — кричат люди, сбегаясь к конторе: — Будут песни!..

Человек, в городском пальто с коти-

ковым воротником, идет в обнимку с инструментальщиком Штетиним. Инструментальщик, дающий высокую норму в механической мастерской, в прошлом был суфлером еврейской бродячей труппы. В приезде он узнал сбрата по прошлой жизни, и теперь, взволнованный радостной встречей, кричит всем, обступившим автобус:

— Встретился с другом... это был такой тип. Такой пройдох! Такой жулик! Что он творил в местечке? Он объявлял одно, а давал другое. Он обманывал публику. Кормил халтурой. Это был негодяй, каких свет еще не видал! — и с улыбкой добавляет, ломая голос: — Вот мы и встретились в степи. И кто мы теперь? Я инструментальщик, стахановец, он работник настоящего искусства.

Ночью мы приходим к доктору Брудному, заведующему в совхозе больницей. Огни ее светят далеко, как слава доктора, замечательного еврея из Шенетовки. Он окончил советский вуз и стал доктором. Это было мечтой каждого еврейского папаша. За доктора давали высокое «приданое», невесты окружали доходную специальность. Пройдя через процентную норму, издевательства, трудности, многие, став докторами, замыкались в кругу семейного счастья.

Брудный уехал в пустыню. Однажды когда он жил в Екатерино-Никольском его позвали в Китай, на дворе его ждали гонцы. Они отвесили низкий поклон и

— А что такое „правожительство“?
Еврейский колхоз
„Икор“, Биробиджан



показали на границу. Доктор сел на лошадь и помчался по льду в Китай. Через полчаса он вошел в дом нойона, начальника уезда. Слуги прижимали ладони к сердцу и кланялись в пояс. Доктор долго шел по комнатам, сверкавшим бронзой и цветными стеклами. На столах в хрустальных вазах ломились красные японские яблоки. На стенах весело пестрел шелк. Вдали, за портьерой, доктор увидел нойона. Тот поднялся с кресла, в ярком халате, с трубкой, потухшей в руке, и поклонившись, сказал через переводчика:

— Вылечи мою дочь!

Дочь нойона тяжело заболела после скарлатины. Приезжали к ней врачи из Японии и отказывались лечить. Приходили к ней врачи из Китая и отказывались лечить. Это было тяжелое непонятное осложнение после скарлатины. Нойон послал гонцов на советский берег.

И доктор Брудный, еврей из Шепетовки, поднял китайскую девочку на руки и понес ее по льду в свою больницу, в Екатерино-Никольское.

Слуги освещали его путь факелами. Позади трубили в рог. Вперед, поднимая голову к небу, шел нойон, китайский начальник. Он жил на советском берегу месяц и все это время молился Будде и читал Конфуция. Он стоял за дверью операционной. Доктор гнал его от двери.

Через месяц, после трудной операции, от которой отказались японские и китайские врачи, девочка выздоровела. Отец бросился к доктору и, целуя полы его халата, снова позвал его в Китай. Там он открыл сундуки, обитые серебром, бросил к ногам доктора шелковые манти, палантины, собольи меха, отрез английского сукна и сказал:

— Прими, владыка души моей, прими, о утро мое, за исцеление дочери!

И доктор Брудный засмеялся, выпрямился и, отстраняясь руками от сундука, сказал спокойно:

— Я советский врач!

Нойон не понял его. Он не понял советской яви, похожей на китайскую сказку, которая летит теперь, как птица, из уст в уста, до Японского моря. Это — сказка о богатом нойоне, больной его дочери и советском враче-исцелителе.

— Мы, ведь, на границе! — вспоминая об этом случае, говорит Брудный. — Мы защищаемся не только винтовками, но и наукой. Она прорывает границы. ...За сопками, вдали — Амурзет!

На пути к нему — корейский ворошиловский колхоз, село называвшееся раньше: Благословенное. Корейцы бежали с японской стороны во Владивосток. Царские чиновники поселили их в тайге вдоль манчжурской полосы, крестили, прислали попов, руссифицировали. Старик-кореец, сидя на цы-

новке на полу, под которым проходит печь, вспоминая то время, говорит:

— Как началась революция, я всех русских богов выбросил!

От того времени у корейцев остались только русские имена. Национальная культура возродилась вместе с фамилиями, краткими, как вздох: Ом, Ким, Пак, Цой... Родной язык звучит всюду.

Высокие трубы над фанзами, дым, каменные стены в поле... Издали похоже: фабричный городок. Крепостные стены вокруг колхоза остались с того времени, когда корейцы торговали опиумом. Каждый год, при сборе урожая мака, с китайской стороны набегали хунхузы и увозили мак. В двадцать четвертом году, после большого нападения, корейцы позвали китайцев, дали им двенадцать пудов опиума, и те построили крепость. Из крепости стреляли по хунхузам. Потом ее разрушили, и крепостные стены, рассыпавшиеся камнями, торчат теперь, напоминая о том, что было и чего не будет: вместо опиума в колхозе давно собирают обильный урожай хлеба. В корейском сельсовете сидит еврей Зеликов, присланный из Биробиджана на засыпку семян.

— Семфонд? — спрашивает он. — Весь засыпали? А остаток куда девали?

— Послали в Амурзет, — отвечает кореец из сельсовета, прищуривая косые глаза. — Они нам тоже помогли. В прошлом году молотилку прислали.

Амурзет тянется по узкой береговой полосе. Длинная улица заворачивает к рабочему поселку, пересекает пустыри с постройками и обрывается на краю колхоза. Эта улица, проложенная в степи, не имеет вывесок, кроме райисполкомовской, не отмечена семейной шелухой, моделями кустарей в окнах, местечковой суетой. По ней несутся грузовые машины, ее мастерские называются кратко: МТС.

На этой улице я ищу семью Хаима Райсбурда. Я везу ей привет с лесозаготовок, из глубокой тайги за Бирой, по горному течению реки, где Хаим Райсбурд, пекарь из Черкасс, возит с бригадой строевой лес. Мы встретились на сопке, где падали кедры, звенели пилы и скрипели

колеса над пропастью. Лошади шли по запутанным тропам, как слепые. Хаим Райсбурд прорубал дорогу и возил бревна к берегу, где принимали их штабелевщики, присланные озетом.

Райсбурд впервые работал на возке леса. Бригада его, вместе с ним приехала из амурзетского колхоза. В ней были недовольные, непривычные к новой работе, скучавшие по дому. И Хаим ругал их, как ругаются в Черкассах.

— Что значит? — выкрикивал он. — Вы испугались леса? Он идет на строительство в Биробиджан. Откуда эта лень? Эти модные штучки? Мы были кустарями — мы стали колхозниками. Мы стали колхозниками — мы будем лесорубами. Вайсман, в прошлом году ты бежал из леса. Ты потянул других, как паршивая овца. Теперь ты не уйдешь, пока бригада не выполнит общий план — восемнадцать тысяч кубометров. Побойсь мне, Вайсман.

В доме с чисто выбеленными по-украински стенами я нахожу семью Хаима Райсбурда и передаю ей привет, широкий и сердечный еврейский привет от главы семьи.

Все спокойно. Пусть Хаим возит лес в Биробиджан. В Амурзете также не сидят сложа руки. Недавно из колхоза отправилась бригада на лесозаготовки для Амурзета. В будущем году Переселенстрой построит в колхозе пятьдесят новых домов в две комнаты с кухней каждый, с плетнями, хлевом, амбарами, двором. Будут сменены избы, вывезенные из соседней деревни Пузино. Эта улица озеленится бульваром.

Улица летит по берегу, сверкающая от снега. Жизнь ушла в дома, где, среди фотографий и фикусов, качают детей в люльках, подвешенных по-казацки к потолку, топят широкие печи, кормят телят, пекут хлеб, рубят секачом свинину. У каждого дома, в сарае, стоят коровы, окруженные свиньями, козами, курами. Амурзет — зажиточная сторона. Он создан в двадцать восьмом году, в первый год переселения в пустыню. И так как молчит еще радио, а недостроенный клуб засыпан пока зерном, далеко в степи славятся амурзетские вечерники. Они созываются ча-



День шестой в колхозе „Вальдгейм“. Биробиджан

Фото С. Фридлинда



Совхоз „Сталифельд“
Биробиджан

сто в колхозной семье. Вечеринки начинаются игрой в лото. Пьют медовуху, едят кур и свинину. Веселье с танцами длится до утра. Играет на скрипке горбун, веселивший евреев раньше на местечковых свадьбах. В колхозе он играет «Партизанскую» и «Кол-Нидрей», «Интернационал» и «Плач Израиля».

...Я сижу в доме Волованского, куда поселил меня сельсовет, в рабочем поселке. Ветер стучит в ставни. За окном сторож Фроим гремит трещеткой и поет веселые песни. Он стоит на улице, в огромной шубе, и смотрит на манчжурскую сторону.

В доме Волованского — свет, тепло и тишина. Сверкают крашенные полы. На стене, голубоватой от извести, дрожит пятно лампы. Волованский приходит с МТС, где работает машинистом, красный от мороза, как от перца. Он моет руки и, надев чистую рубаху, садится в парикмахерское кресло. Он садится в кресло дочери-парикмахера, принимавшей клиентов дома. Они вносили шум и беспокойство, другого помещения не было, и дочь забросила бритву и ушла работать в ясли. В колхозе бреет теперь старик, живущий на другом конце улицы.

Волованский приехал из Умани в первый год переселения. Дом его окружен огородом. Скот стоит в сарае. Дрова лежат на дворе сухими штабелями. Сын

учится в Биробиджане в еврейском техникуме, и дочь-парикмахер пишет брату письмо.

— «Амур замерз, — пишет она, — и ты сможешь приехать хоть на каникулы. Не обижай свою маму. Она напекла сладкие ватрушки и заколола свинью. Она нарубила печенку с яйцом и смотрит на Амур: «может быть, боже мой, ты приедешь!».

На печи поет чайник. Ароматное тепло разливается по комнатам. Волованский, откинувшись в парикмахерском кресле, читает областную газету «Биробиджанер Штерн». Потом он играет с женой в домино. Потом он поет. Он поет «Марш Биробиджана», гимн, рожденный в пустыне. И веселый распаренный теплом и сытостью, зовет меня по-библейски:

— Реб Довид!

Я иду к нему из второй комнаты, где старуха приготовила на диване постель для меня: перину и простыню, пахнущую снегом.

— Реб Довид! — повторяет Волованский, рабочий МТС. — Ну, скажите, что я оставил в Умани? Дом?...

— Какой дом?

— Собственный! — продолжает Волованский. — Через два года стукнет десять лет, как я живу в Амурсете. Я заслужу право бесплатно поехать в Умань. Я поеду и продам дом. Что же тогда останется от Умани? Голые воспоминания!

В полночь в окно стучат мои спут-

ники, еврейские поэты Олевский и Вассерман.

Люба Вассерман приехала из Палестины. Там она была кухаркой. Скитаясь по чужим, она жила мечтой о своем доме. В местечке ее предали «херему»¹, страшному проклятию. Под пасху она работала в мадепекарне, куда запрещалось входить мужчинам. И когда пришел к ней знакомый парень, весть об этом разнеслась по местечку как проказа. Прибежал раввин и крикнул:

— Бога не боишься?

— А вы видели его? — спросила Люба Вассерман. — Ищите ветра в поле.

И за эти слова в синагоге ее предали «херему». Ей объявили бойкот, и люди бежали от нее, как от чумы. Она пришла к родственникам, и те прогнали ее. Она уехала в Палестину. Бездомная, горькая жизнь ждала ее там. Тогда она приехала в Биробиджан и получила теплую комнату, оклеенную веселыми обоями, свой огород, свою судьбу. Стихи ее, перепечатающиеся в зарубежных еврейских газетах, называются: «Мой огород», «Моя комната».

В колхозах на литературных вечерах она рассказывает о себе, вспоминая свой «херем». Ее слушают амурзетские колхозники. Этот «херем» позабыт даже стариками. Герш Ржановский, которого в колхозе называют «папаша», передает ся иным воспоминаниям. Первый переселенец, он рассказывает о рождении Амурзета, вспоминает путь, пройденный повсей пустыне.

... Он приехал в двадцать восьмом году, один из десяти в артели «Мен-

деле Мойхер-Сфорим». Десять евреев начали возить в степь из казачьего села Екатерино-Никольское камень, кирпич, лес. Весной они запахали шестьдесят гектаров земли. Озет выдал им трактор, сеялку, сноповязалку, молотилку. Они привезли лес в степь и построили конюшню, где поселились с семьями, с лошадьми и коровами. Дождь лил через крышу все лето, и каждый раз они перемещались из угла в угол. Артель продолжала возить лес для домов, и евреи вместе с казаками, никольскими и пузиновскими, выстроили мельницу и пять домов. Уже начали они зарабатывать на извозе, продавать молоко и сеять свой хлеб. Они сняли первый урожай в тайге, где дожди лили двадцать дней, и хлеб лежал в суслонах. Это был первый урожай, поднятый руками, не знавшими земли.

Они построили два амбара, засыпали их овсом и мукой и голыми руками сняли урожай картошки — девятьсот пудов.

Потом пришли новые артели: «Комсомолец», «Икор», уже было пятьдесят человек и пятнадцать домов. В пади «Ревучиха» засеяли сорок гектаров. Ло-

мались тракторы, калечились лошади, хлеб погиб от дождей, недавно в МТФ вспыхнул пожар и сгорело семьдесят коров, но люди работали, и в домах появилась мебель, патефоны, велосипеды, швейные машины, в сараях — скот, в степи — огороды.

— Остались! — говорит Герш Ржановский, которого в колхозе называют «папаша». — Остались и построили сытую жизнь для нас и для детей наших. Здесь, на самой границе...



¹ Анафема.